

**Тема номера: «Антропологические поиски и гуманитарное знание в позднее советское время».**

**Ответственный редактор М.Ю. Немцев**

© В.Ю. Файбышенко

## **Этика ограниченного понимания: о метатеоретической мысли М.Л. Гаспарова**

**Ключевые слова:** Метатеоретическая рефлексия, творческая и исследовательская установки, субъективность, эпохе субъективности, понимание, текст, насилие

В статье предложен анализ метатеоретической рефлексии выдающегося филолога М.Л. Гаспарова. Метатеоретической рефлексией мы будем называть проблематизацию не теории, но собственной позиции ученого в отношении другого. Ее основной проблемой является «профессиональная субъективность» ученого в его взаимодействии с чужой субъективностью, а также непрофессиональные основания и следствия его позиции.

Гаспаров подвергает радикальному сомнению презумпцию понимания текста и коррелятивного ему понимания автора текста. Такое понимание есть эгоцентрическое насилие. Понимание должно быть результатом особых практик аскетического самоограничения исследователя, за которым следует перевод и реконструкция исследуемого текста. Такое понимание релевантно лишь в жестко очерченных границах. Следовательно, гуманитарное исследование приходит к пределу своих возможностей, реконструируя действия ограниченной и исторически конечной субъективности, определяемой отбором доступных ей возможностей. Они могут быть описаны в виде тезауруса.

Гаспаров вводит идею закрытого перечня значимых факторов, создающих поле перевода. Она позволяет определить соотношенность мест в общей системе координат. Но существование этой системы координат удостоверяется для исследователя опытом предельной уязвимости и аффицируемости личного существования. Текст оказывается данностью, которая возникает над первичной негативностью личного бытия и перекрывает эту негативность. Остается вопросом, в какой мере бытие текста ограничено его исторической генеалогией.

### **Введение**

В 1979 г. М.Л. Гаспаров опубликовал в журнале «Литературное обозрение» заметку «Филология как нравственность», содержание которой выглядело

**Файбышенко Виктория Юльевна** — кандидат филос. наук, доцент. Свято-Филаретовский институт, Москва [vfaib@mail.ru](mailto:vfaib@mail.ru). [orcid: https://orcid.org/0000-0003-0976-0236](https://orcid.org/0000-0003-0976-0236).

**Для цитирования:** Файбышенко В.Ю., Этика ограниченного понимания: о метатеоретической мысли М.Л. Гаспарова // Антропологии/Anthropologies. 2023. № 1. С. 5-26, <https://doi.org/10.33876/2782-3423/2023-1/5-26>.



скандалным по отношению к авторитетному дискурсу советской гуманитарной научности. Для многих оно осталось таким и тогда, когда прокламируемое единство языка и метода науки сменилось плюрализмом подходов:

«Филология начинается с недоверия к слову. Доверяем мы только словам своего личного языка, а слова чужого языка прежде всего испытываем, точно ли и как соответствуют они нашим. Если мы упускаем это из виду, если мы принимаем презумпцию взаимопонимания между писателем и читателем, мы тешим себя самоуспокоительной выдумкой. Книги отвечают нам не на те вопросы, которые задавал себе писатель, а на те, которые в состоянии задать себе мы, а это часто очень разные вещи. Книги окружают нас, как зеркала, в которых мы видим только собственное отражение; если оно не всюду одинаково, то это потому, что все эти зеркала кривые, каждое по-своему. Филология занимается именно строением этих зеркал — не изображениями в них, а материалом их, формой их и законами словесной оптики, действующими в них. Это позволяет ей долгим окольным путем представить себе и лицо зеркальных дел мастера, и собственное наше лицо — настоящее, неискривленное» (Гаспаров 2001: 112).

Манифест Гаспарова противостоит как позднесоветской концепции «объективной истины», которую, пусть в неполном и искаженном виде, отражают сознание читателя и сознание писателя, так и концепции «субъективной истины», открывающейся во встрече собеседников, отдаленных, но и соединенных некоей постулируемой общностью — от культуры и традиции до человеческого бытия вообще.

В этой статье мы попытаемся разобраться в метатеоретической рефлексии М.Л. Гаспарова, ученого, соединившего занятия античной филологией, стиховедением, анализом поэтического текста и исследования русской модернистской поэзии в широчайшем диапазоне от В. Брюсова до В. Меркурьевой. Метатеоретической рефлексией мы будем называть проблематизацию не теории, но собственной позиции ученого как отношения к другому, ответственного за его дружость. В ее центре находится проблема «профессиональной субъективности» ученого в его взаимодействии с субъективностью его предмета и транспрофессиональные основания и следствия его позиции. Гуманитарное исследование всегда опирается на определенную технику субъективности, позволяющую соотнести самоподразумеваемое Я исследователя, носителя речи, держателя научного и культурного дискурса, с полагаемым Другим, реальность которого удостоверена исследуемым текстом. Можно сказать, что Другой оказывается и горизонтом исследования текста, и если не целенаправленным, то побочным продуктом исследования этого текста.

В статье упоминаются и анализируются работы Гаспарова, написанные с 1970-х по 1990-е годы: меняется повестка дня, с конца 1980-х делаются доступными для публичной рефлексии ранее запретные темы, но, осмелимся утверждать, метатеоретические установки Гаспарова сохраняют устойчивость, реализуя свою имманентную логику в столкновении с новыми раздражителями. Судя по критической обращенности к широко понимаемой «новой философии» от Бахтина до Деррида, выдающийся филолог Гаспаров видел в философии идейного противника, с которым приходится делить общую территорию. В 1990-е годы проблематика борьбы с авторитетным дискурсом,



к которому нужно было подтягивать философское обоснование гуманитарных методов, отошла в прошлое, и специфические конфигурации советской травмы накладывались на возможность артикулировать самые разные теоретические позиции. Гаспаров постулировал свою деятельность как борьбу за научность филологии, для чего требуется определить ее собственный домен. Этот традиционный вход в поле методологической рефлексии может подразумевать самое разное реальное содержание. В случае Гаспарова горизонт полемики задан и ростом «православного литературоведения», и модой на диалогизм, и шоком встречи с культурной ситуацией, которую тогда расплывчато называли «постмодерном», а Гаспаров (как и С.С. Аверинцев) именовал «деструктивизмом» (от «деконструкции» Ж. Деррида, но с отрицанием амбивалентности этого понятия). Для Гаспарова речь идет не о консервативном противостоянии «новым временам» и даже не о споре модернистского культурконструктивизма с постмодернистским разбором конструкций. Очень современным образом Гаспаров ставит под сомнение языки неявной власти, не сознающей себя как власть. Таким представляется ему язык гуманитарного исследования, насыщенный разнообразными «ценностями», и язык культурного производства в целом. Эта специфическая внимательность была нова для постсоветской гуманитарной среды, связывавшей проблему власти с давлением внешних идеологически мотивированных сил и институций. Она неожиданно сблизила Гаспарова с теми, кого он безусловно считал своими теоретическими противниками, например, с М. Фуко.

Гаспаров охотно носил речевую маску «морально устаревшего» старика-позитивиста. После публикации в 2001 г. принципиально внеакадемической, но построенной на экзистенциальной рефлексии научности книги «Записи и выписки», стало ясно, что маска была видом игры — вполне постмодернистской по стилю, предельно серьезной по заданию.

Отдельные статьи, вошедшие в книгу, публиковались ранее в академических журналах. Но именно их перемешивание с алфавитно организованными пародийными лексиконами выписок и кратких заметок, воспоминаниями, письмами, переводами и собственными стихами создало эффект единства радикальной иронии и экзистенциального напряжения. При этом отношение формы и содержания книги парадоксально: статьи-манифесты строгой научности, требовавшие принципиального и окончательного разделения культурных позиций «ученого» и «творца», оказались внутри гипертекста, похожего на бахтинскую мениппею. Это требование, с предельной резкостью сформулированное на уровне элементов книги, не опровергалось, но как бы подвешивалось самим устройством ее целого. Такое соединение далековатых вещей пролило новый свет и на зазвучавшие авангардно афоризмы типа: «Мы не хотим признаться себе, что душевный мир Пушкина для нас такой же чужой, как древнего ассирийца или собаки Каштанки» (*Гаспаров* 2001: 112) (трудно понять, почему в качестве оппонента этой идеи предложен «деструктивист» или «постструктуралист»). Оно вызвало многочисленные возражения как раз у литературоведов традиционной ориентации (например, (*Сурат, Бочаров* 2002: 8)).

Ученые читатели заметили парадоксальный характер «Записей и выписок» как художественного жеста и произведения современного искусства (*Зорин* 2003; *Живов* 2006; *Кузмин* 1999). Остался в стороне вопрос о том, каким обра-



зом «ненаучный» характер книги выражает не только эстетическую сторону Гаспарова-ученого, но метагегоретическую рефлексию по поводу деятельности человека, направленной на деятельность других людей в истории.

### Насилие, познание, творчество

Внимательный читатель «Записей и выписок» не может не заметить, какую огромное место в ней занимает тема насилия. Это насилие обоюдно, оно исходит от любой стороны любого взаимодействия, его носителем может быть Я и Другой. Тень насилия падает на любой разговор о «диалоге» или «понимании». Вообще коммуникация предстает как ситуация блуждающего насилия, избежать которого можно, только приостановив ее спонтанность и выйдя из ее тотальности. Насилие институционально и сверхинституционально: оно происходит как из устройства человеческого сообщества, так и из самовыражения любого Я. Предельно ясно эта пессимистическая установка выражена в неожиданном ответе на вопрос журнала «Знамя» о подходящем России выборе между индивидуализмом и соборностью: «Прав человека я за собой не чувствую, кроме права умереть с голоду. Коллективизм и соборность для меня одно и то же — между сталинским съездом Советов и Никейским собором под председательством императора Константина для меня нет разницы. Я существую только по попущению общества и могу быть уничтожен в любой момент за то, что я не совершенно такой, какой я ему нужен. (Именно общества, а не государства: такие же жесткие требования ко мне предъявляет и дом, и рабочий коллектив). Я хотел бы, чтобы мне позволяли существовать, хотя бы пока я не мешаю существовать другим. Но я мешаю: тем, что ем чей-то кусок хлеба, тем, что заставляю кого-то видеть свое лицо...» (Гаспаров 2001: 88).

В самом научном производстве Гаспаров так же видит постоянную возможность насилия, и объектом этого насилия оказывается предмет познания. Если Фуко ищет микрофизику власти в самом конструировании предметности через построение нормы, Гаспаров находит ее в желании ученого преодолеть предметность предмета — его исходную твердость, непрозрачность для субъекта. Этому исходному желанию следует противопоставить этическую максиму «оставить свой предмет неприкасаемым» (Гаспаров 2001: 100).

Но может ли ученый оставлять свой предмет нетронутым, если он всегда участвует в полагании границ этого предмета? Для того, чтобы положительно ответить на этот вопрос, Гаспарову приходится предельно усилить установку на абсолютное различие, онтологическую бездну между гуманитарием и его предметом (пресловутое равенство Пушкина и собаки Каштанки). Если принять абсолютность этого различия, то «неприкосновенность предмета» и будет тем, что должен активно реконструировать ученый — не как конечную цель познания, но как его имманентное условие.

Гаспаров осуществляет философскую критику филологического разума, которую сам он склонен был понимать как критику философии. Он пишет: «Постструктурализм — стремление высвободиться из-под авторитетов? Но авторитетно ведь каждое письменное слово (т.е. допускающее перечтение) в отличие от устного. Если, чтобы вызволиться, я начинаю писать сам — это я борюсь за подмену одной власти другой, а мы знаем, что из этого бывает.



Пляшущий стиль Деррида — это атомная бомба в войне за власть над читателем» (Гаспаров 2001: 398). Эта формула имеет мало отношения к философским взглядам Деррида, в ней даже можно разглядеть характерно постсоветское отвращение ко всякой революционности. Но ее острота в утверждении: каждый, кто пишет, борется за власть. Не только философ-творец, говорящий от своего имени, но и ученый, пишущий свое имя мелким шрифтом, тоже испытывает соблазн писать от своего лица, пусть и не в интимно психологическом смысле. Значит, перед ученым стоит задача так работать над собственным письмом, чтобы оно учитывало эту исходную самоцентрированность субъективности и вычитало ее. Именно сознательное самоотрицание, рефлексивное вычитание себя должно лежать в основании научного метода гуманитария. Это требует особого рода аскезы, такого внимания к способу собственного присутствия, которое не сводится к готовым, технически понимаемым нормам научности. В рефлексии того, как это «себя» задает себе своего другого, Гаспаров создает особенную технику подозрения, неизбежно ставящую под вопрос не только себя, но и Другого.

В любой критической работе по десубстанциализации субъективности Гаспаров видит прежде всего новое ее утверждение — именно потому, что с его точки зрения в такой критике границы конвенциональных отношений между *субъектом-субъектом* и *субъектом-объектом* вновь сдвигаются в пользу критикующей субъективности. Говоря о проблемности понимания, Гаспаров постоянно прибегает к метафоре борьбы за власть. Кажется, ему должен был бы быть небезынтересен анализ знания-власти, осуществляемый Фуко. Но для Гаспарова и Фуко — прежде всего, фигура, притязающая на власть, утверждающая собственную авторскую субъектность за счет своего предмета.

Читателя, сколько-то знакомого с «новой философией», ее совокупный образ в трактовке Гаспарова должен озадачить неконкретностью и неисторичностью, отсутствием критики собственно философских проектов: Гаспаров борется с волей к власти, волей к эгоцентрическому вложению себя в текст, который он обнаруживает у «деструктивистов». Но его обвинения не специфицированы потому, что описывают первородный грех «творчества» вообще. Главная претензия, которую филолог предъявляет философам, заключается в том, что, выдавая себя за исследователей, они являются прежде всего творцами, причем творцами романтического типа: «Творческий деятель стремится к самоутверждению, исследователь — к самоотрицанию. Мне лично ближе второе: мне кажется, что в самоутверждении нуждается только то, что его не стоит» (Гаспаров 2000: 102). Дальше Гаспаров признает неизбежность культурного творчества, но для него первым долгом познающего является эпохе «творческой установки». По существу, «философы» и филологи, которые следуют за ними, переходят заповедную линию, несколько схожую с линией Платона. Эта черта пролегает между познанием, создающим знание, и творчеством, создающим объекты познания. Остановить имманентно присущую самоутверждению волю к насилию способно только полностью извлеченное от самоутверждения субъекта познание.

Итак, правильное поведение ученого очерчено границей, отделяющей познание от творчества. Само же творчество и есть вторжение, смещение, перенос границы. Именно в творческой реализации за счет борьбы с чужим словом Гаспаров обвиняет М. М. Бахтина, перенося «борьбу с чужим словом,



пробравшимся внутрь моего голоса», которую, по Бахтину, ведет автор и/или герой художественного произведения, на деятельность самого Бахтина. Гаспаров последовательно отождествляет *исследовательскую субъективность* Бахтина с *исследуемой* Бахтиным субъективностью: «Бахтин — это бунт самоутверждающегося читателя против навязанных ему пиететов» (Гаспаров 2002: 35). В исследователе Бахтине Гаспаров находит не только Бахтина-героя, претендующего быть автором, но и Бахтина-читателя, претендующего стать писателем. Для него между ними нет принципиального зазора. Это связано с тем радикальным подозрением, которое Гаспаров питает к самому исследованию чужой субъективности постольку, поскольку оно связано с конструированием собственной. Бахтин, выдвигающий в качестве первичной реальности исследования чужое слово, для Гаспарова всегда-уже успел это слово сфальсифицировать, подменив своим «читательским творчеством». Бахтин читает как читатель, и производит свою читательскую субъективность — «подлинную» как всякая естественная субъективность. Так же точно он сам становится полем проекций для своих последователей в их актах творческого прочтения: «Несвоевременные последователи сделали из его программы творчества теорию исследования. А это вещи принципиально противоположные: смысл творчества в том, чтобы преобразовать объект, смысл исследования в том, чтобы не деформировать его» (Гаспаров 2002: 35).

И установку Бахтина на исследование речевых жанров, и его открытие полифонии в романе Гаспаров понимает как личную волю к деформации чужого слова, которое неожиданный наследник пытается подчинить и сделать своим. Бахтинский тезис — слово в культуре не является по определению своим для субъекта, им порожденным словом — неожиданно оказывается еще одним способом самоутверждения субъекта посредством присвоения этого чужого слова.

Гаспаров последовательно превращает совсем не наивную, не «естественную», комбинирующую разные философские традиции работу Бахтина в наивную речь художника-авангардиста, начинающего историю с себя и ниспровергающего «традиции вообще». Понятно, что в 1979 г., когда вышла заметка о Бахтине, Гаспаров мог быть не осведомлен о богатом теоретическом бэкграунде последнего. Но это незнание превратилось в выбор. В этом тексте Гаспаров ясно формулирует тезисы, которым остается верен до конца. Он отчетливо эксплицирует собственную задачу: не реконструкция реального теоретического горизонта, в котором действовал Бахтин в двадцатые годы, но деконструкция роли, которую играет Бахтин как фигура консервативной культурной идеологии, укрепившейся в семидесятые (например, в круге В. Кожина), то есть как участник актуального «культурного творчества». Доказать, что Бахтин — авангардист нужно, чтобы сбросить с трона Бахтина-традиционалиста, защитника «органической целостности». И авангардизм, и консерватизм Гаспаров полагает эгоцентрическим вторжением в неприкосновенность чужого слова и одновременно вторжением настоящего в прошлое.

Но такое разоблачение Бахтина уже не находится в поле науки, поскольку не вполне соответствует фундаментальному требованию самого Гаспарова: не деформировать прошлое культуры в интересах настоящего. Ценой нарушения собственных правил Гаспаров ставит вопрос о том, что такое быть ученым — через проблематизацию непроговариваемых и непроблематизи-



руемых оснований этого занятия, укорененных, как видим, в позиции самого ученого как субъекта истории. Он ведет своего рода двойную игру, симулируя естественную установку, чтобы предьявить чужой метод как плод естественной установки.

Обвинение в «бунте читателя» как сознательно выбранной авангардной позиции, которое Гаспаров предьявляет Бахтину, на деле обнажает недостаточность сведения субъективности исследователя к произволу индивида. Поэтому Гаспаров очень эскизно, отсекая подробности, ставит вопрос о том, на каких основаниях и внутри какой структуры исторических отношений гуманитарий осуществляет свою активную преобразовательную деятельность. Получается, что ситуация зеркала, не способного встретиться ни с чем кроме своих проекций, фундирована не только эгоцентрическими иллюзиями конкретного индивида, но тем, как задается и пере задается *канон субъективности*, внутри которого выстраивается коррелятивное единство субъекта и его объекта.

### Субъективность первичная и восстановленная

Итак, в центре метатеоретической рефлексии Гаспарова оказалась проблема активности личности исследователя в производстве знания. В гуманитарных науках эта активность имеет особенно радикальный характер, поскольку гуманитарное знание не может до конца объективировать свой объект и, при всех методологических ограничениях, оказывается знанием личности о других личностях и их мире, то есть производством субъекта из произведенного знанием объекта, своего рода субъекта-объекта. При этом знающий конституирует собственную субъективность посредством ре-конструкции субъективности знаемого. Эту ситуацию Гаспаров рассматривает как рискованную и для субъекта-субъекта науки, и для ее субъекта-объекта, и, конечно, для производства самой объективности. Прояснение и профилактика этого риска упирается для него в вопрос об объективных границах познания субъективности.

Для Гаспарова творческая субъективность является первичной, всегда уже данной и соответственно незрелой, не прошедшей аскетической обработки. По существу, творчески действует не только «творец», но и всякий потребитель чужого слова, по определению его деформирующий. Культура есть история таких деформаций. Творческая субъективность не может оставить слово нетронутым, сохранить в исходной чуждости. Однако она производит объекты, которые ценны именно тем, что способны существовать отдельно от субъекта. Именно сфера вещей (текстов), лежащих между людьми, создает общее им пространство, которое и делает возможным понимание. Следовательно, релевантность понимания обусловлена опосредованностью (текстом) и ограничена возможностью реконструкции условий его производства: от технических до социально-исторических. Аскетическое самоотрицание, которого Гаспаров требует от ученого, может стать продуктивным действием только в служении вещам, произведенным творческой субъективностью. Но сама исследовательская деятельность меняет статус этих объектов — она приводит их к *объективности* и одновременно отсылает к их субъективной генеалогии. В идеальном виде исследование не только не должно быть результатом борьбы воли творца и воли исследователя, претендующего быть творцом (в такой претензии Гаспаров подозревает не только Бахтина или «деструк-



тивистов», но и мышление всякого агента культуры), оно должно поставить вопрос о производности каждой из них. На языке Гаспарова это означает, что исследователь должен представить субъективность своего субъекта-объекта как «точку пересечения общественных отношений», то есть как разложимые и доступные для исторического анализа отбор и взаимосвязь «чужих слов».

Но это еще не все: и предпосылкой, и предельным, выходящим за пределы конкретной задачи итогом такого объективирования чужой субъективности должно стать взятие в скобки носителя «своего слова», отказ от предпосылочного представления себя как цели и ока истории, отказ от субстанциализации субъективности в ее, в конечном счете, не личной, но исторически заданной позиции.

Именно так Гаспаров представляет историко-литературный подход Ю.М. Лотмана: «Человеческая личность для Лотмана не субстанция, а отношение, точка пересечения социальных кодов. Марксист сказал бы: «точка пересечения социальных отношений», — разница опять-таки только в языке. Именно благодаря этому оказывается, что Пушкин был одновременно и просветителем-рационалистом, и аристократом, и романтиком, и трезвым зрителем своего века, знал цену условностям и дал убить себя на дуэли. <...> Тынянов стал писать роман о Пушкине, когда увидел, что тот образ Пушкина, который сложился в его сознании, не может быть обоснован научно-доказательно, а только художественно-убедительно: образ — главное, аргумент — вспомогательное. У Лотмана (как и у Ключевского) — наоборот, каждый его портрет есть иллюстрация в собственном смысле слова, материал для упражнения по историко-культурному анализу, человек у него, как фонема, складывается из дифференциальных признаков, в нем можно выделить все пересекающиеся культурные коды, и автор этого не делает только затем, чтобы вдумчивый читатель сам прикинул их в уме. Здесь концепция — главное, а образ — вспомогательное» (Гаспаров 1997: 492).

Гаспаров называет концепцию личности как «точки пересечения социальных отношений» марксистской, но в точности та же формула дана в его «Записях и выписках» уже как перволичное высказывание<sup>1</sup>. Именно эта подчеркнута неоригинальная, «догматическая» мысль в разных формулировках повторяется в книге Гаспарова едва ли не чаще, чем какая-либо другая (см.: Гаспаров 2001: 9, 15, 96, 141, 259, 296, 297, 301, 372). Она образует исходное отношение я-субъекта к себе-объекту, которое должно быть структурно таким же, как любое отношение субъекта-исследователя к субъекту-объекту: «Так что мое дело как филолога — разобраться в источниках самого себя» (Гаспаров 2001: 142). Этот персонаж, субъект-объект дан как скрещение отношений, обнаруживающих на своем пути некую темноту, излишек, затруднение, неспособность — то исходное препятствие, которое должно быть преодолено во благо скрестившихся линий передачи смысла. В этом пересечении линий условно всеобщего возникает условно-собственное. Именно активно прео-

<sup>1</sup> Например: «Есть марксистское положение: личность — это точка пересечения общественных отношений. Когда я говорил вслух, что ощущаю себя именно так, то даже в самые догматические времена собеседники смотрели на меня как на ненормального. А я говорил правду. Я зримо вижу черное ночное небо, по которому, как прожекторные лучи, движется светлые спицы социальных отношений. Вот несколько лучей скрестились — это возникла личность, может быть — я. Вот они разошлись — и меня больше нет» (Гаспаров 2001: 96).



долеваемое не-понимание и является месторождением опыта. В этой точке соединяется то, что Гаспаров считает своим исходным экзистенциальным переживанием, и то, что он полагает релевантным методом научной реконструкции чужого горизонта.

Поэтому программный антисубъективизм Гаспарова является не отрицанием, а своего рода метатеорией субъективности в гуманитарном исследовании. В этом аспекте Гаспаров вновь неожиданно близок Фуко. По свидетельству Н.С. Автономовой, М.Л. Гаспаров помогал ей в переводе «Слов и вещей» (Фуко 1977), и именно его руке мы обязаны окончательной отделкой финального пассажа книги о возможном исчезновении «человека» в будущей констелляции эпистем, этого манифеста «теоретического антигуманизма»<sup>2</sup>. Гаспаров испытывал отвращение к стилю Фуко, но так ли далек он сам от мысли об исторической конечности конструкции «человек»?

Н.С. Автономова говорит о структуралистской и «антигуманистической» позиции Фуко эпохи «Слов и вещей»: «в этой работе антитеза языка, структуры, с одной стороны, и человека, смысла, с другой была четко очерчена» (Автономова 2019, 17). С большой степенью приблизительности можно сказать, что метатеоретический подход Гаспаров соединил воедино полюса, которые у Фуко принадлежат разным биографическим этапам: «теоретический антигуманизм» метода и поиск «этики себя», особым случаем которой оказывается этика познания. Кроме того, в случае Фуко структурализм был альтернативой марксистского метода истолкования исторической реальности; так это было и у советских последователей структурного метода. Гаспаров, по собственному утверждению, не был «сознательным структуралистом», хотя его понимание предмета гуманитарного исследования как точки пересечения отношений может быть названо структурным. Но острое внимание к производству субъективности в науке совершенно независимым образом провело его через ряд примерно тех же вопросов, которыми в шестидесятые годы задавался один из учителей Фуко Луи Альтюссер, полагавший, что научный дискурс должен иметь нулевую степень присутствия субъекта, поскольку сам субъект есть результат идеологической интерпелляции (см., например: Althusser 2003: 33–85).

Однако построение науки, имеющей дело с отложениями субъективности и при этом совершенно свободной от идеологии субъекта, упирается в некие принципиальные ограничения. Альтюссер мог убедиться, что предпринятое им самим разделение Маркса на теоретика истории-ученого и идеолога-философа не может быть доведено до конца. Чуткость Гаспарова к точке, в которой встречаются марксизм и структурализм, обусловлена не специальным интересом к философии, совершенно скомпрометированной в кругу позднесоветских гуманитариев, но тем, как он видит саму проблему гуманитарных

<sup>2</sup> «Чеканностью этой концовки я обязана М.Л. Гаспарову. Он очень не любил Фуко, считая его автором претенциозным и многословным, однако брался местами редактировать мой перевод «Слов и вещей», а позднее читал — по моей просьбе — поздние книги Фуко из «Истории сексуальности» на предмет выверки того, как трактуются им античные сюжеты, и находил подчас отсутствие необходимого и акценты на второстепенном. В том, что касается перевода итоговой фразы «Слов и вещей», признаюсь, что все мои варианты были менее убедительными, тогда как гаспаровская фраза “человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке” навсегда врезается в память» (Автономова 2019: 17).



наук: производство знания о субъекте не только с трудом отделимо от вос-производства субъективности, но и включает в себя функцию историчности как исследующего, так и исследуемого.

Гуманитарная наука участвует в развертке субъекта как держателя и содержимого личной и всеобщей истории, извлекаемой из его объективных отложений. Такого рода развертка или извлечение возможны потому, что сами объекты уже поняты как проекции субъективности. Структура гуманитарного исследования предполагает, что субъектность исследователя, не сводимая в действительности к нулю, ограничена эксплицитными нормами, по которым она восстанавливает другую субъективность, следы которой проступают в исследуемых текстах. Этот нормативный субъект по определению не является конечным хозяином речи. Он обязан соотносить свою деятельность с неким всеобщим условием действия в истории, экспликацией которого является и его нормирующая активность, и активность восстанавливаемого субъекта. Таким образом, частноисторический субъект-объект всякий раз подтверждает это имманентное ему условие. Такой процесс корреляции субъективностей мы можем, заимствовав термин Альтюссера, назвать интерпелляцией в гуманитарной науке.

Гаспаров постоянно пытается произвести своего рода *epochè*, феноменологическую приостановку субъективности и упирается в не-обходимые основания интерпелляции.

### **Не-понимание как основа коммуникации. Необходимость тезауруса**

Фундаментальная установка, которую Гаспаров ставит под вопрос, это презумпция «первого» понимания, связывающего человека с человеком. И Гаспаров, и его друг и оппонент С.С. Аверинцев говорят о филологии как школе понимания. Но Аверинцев предполагает, что исходный опыт понимания у человека уже есть — в конце концов, любая культура выступает органом такого ограниченного, но органичного понимания. Гаспаров же доходит до гротеска, подчеркивая иллюзорность и даже этическую опасность такого опыта: «Просто: «Ведь есть же такая вещь, как просто понимать, которую вы упорно отрицаете», сказал мне С. Ав. («С., когда я позволял себе что-нибудь просто понимать, это всегда кончалось катастрофой».) «Просто» — это значит несообщимо» (Гаспаров 2001: 399). Понимание в том ограниченном виде, в котором оно вообще возможно, всегда идет вслед за фрустрацией непонимания; понимание есть следствие вскрытия исходного непонимания и взятия его под контроль. Понимание не предшествует познанию, но является итогом его признания и легитимации.

Ситуация познания противоположна: Гаспаров много раз подчеркивает ее принципиальную непрямоту, непростоту, не-данность, не-рожденность. Эта ситуация сделана, а не дана по природе. Сама «контролируемость» ее производства есть некоторая гарантия того, что в ней мы можем освободиться от герменевтической иллюзии, выйти из круга естественного понимания, неизбежным содержанием которого является скрытое непонимание. Именно подавление этого пугающего непонимания позволяет настоящему присваивать прошлое, собственному — несобственное, правильному для меня — правильное для другого.



Не понимание должно быть очищено от непонимания. Наоборот, начальное не-понимание следует довести до методической чистоты, а потом по определенному алгоритму превратить в ограниченное понимание. Это не значит, что изначальное интуитивное «понимание» неверно. Оно в принципе существует вне зоны релевантности, вне деления на истинное и ложное: в царстве пресловутой творческой субъективности, всюду встречающей только свои зеркала.

От обыденного позитивизма исследователей позицию Гаспарова отличает именно то, что практический позитивизм в той или иной степени натурализует свои процедуры, а Гаспаров предлагает их возможно полную денатурализацию.

Но денатурализация работает не только на стороне субъекта — она требует очищения объекта исследования. Ведь герменевтические соблазны и иллюзии приходят со стороны объекта как объекта нашего желания, который всегда-уже успел аффицировать нас, пока мы определяли его объектность. В этом смысле не только Я посягаю на чужое слово в претензии понимания, но и оно обладает некой насильственно аффицирующей активностью по отношению ко мне: «Вот так и филологическое понимание есть лишь самозащита от нападения на нас непонятного нам мира в лице какого-то стихотворения» (Гаспаров 2001: 111).

Гаспаров подвергает подозрению саму волю к взаимодействию с другим, в котором всегда находит волю к поглощению другого в активной или пассивной позиции. Но эту волю нельзя остановить на собственной территории исследователя, потому что никакой собственной территории у него нет: он живет в конкретной истории, где никакая территория не собственная, но разными путями унаследованная или присвоенная. Значит, нужно деконструировать саму ситуацию изначальной совместности субъективности исследователя и субъективности, восстанавливаемой из текста.

Пушкин, по Гаспарову понятный нам не больше, чем китайская грамматика или собака Каштанка, — это субъект-объект, эксплицитным, несокрытым образом входящий в сферу ответственности интерпретатора. Мы избавляемся от «иллюзии» действующей на нас субъективности Пушкина для того, чтобы создать гомогенное поле вменения фигуре «Пушкин» некоторого устойчивого и проверяемого содержания. Пока мы находимся в отношениях непосредственного диалога с другим, другого для нас не существует, поскольку другой здесь только средство для завершения собственной субъектности. Познание, в идеальном виде, не исходит из презумпции «неповторимой индивидуальности», которая может быть пережита другой неповторимой индивидуальностью как целое, но восстанавливает чужую субъективность как структуру, поддающуюся верификации через соотношение с неким (пока не до конца дописанным, а то и вовсе еще не написанным) словарем, тезаурусом значений. Словарь должен быть верифицируемым и фальсифицируемым, эксплицитно предъявляемым и дополняемым новыми значениями вплоть до исчерпания. В мысли Гаспарова словарь оказывается реальностью, первичной по отношению к любому конкретному произведению или автору, но при этом равной именно совокупности их конкретных проявлений. Исследователь определенного автора, читая текст, строит его словарь (опираясь при этом на словарь



более высокого уровня — словарь эпохи, круга, языка) и исходя из словаря, трактует конкретный контекстуальный смысл. Создавая такой словарь, исследователь узнает и себя самого — тоже как словарь, тезаурус, точку пересечения общественных отношений.

Для Гаспарова построение тезауруса создает ситуацию десубъективации, именно потому, что возвращает поэтическое слово к его словарному значению, равно открытому и доступному всем (естественно, возвращает не навсегда, а в пределах определенной стадии познания). Здесь приостановлена аффективная активность как автора, так и исследователя: знание познает человеком, которому следует сознательно превратиться в инструмент этого знания, то есть произвести некоторые хорошо узнаваемые практики самодисциплинирования, лежащего в основании субъективности. Таким образом, субъективность, изгнанная на наивном уровне эгоцентрической захваченности, возвращается в радикальном виде когито. Ведь субъективность когито — прежде всего полагание границ, выражающее себя в самоограничении, способность прекратить аффицирование души непосредственным опытом.

Условием познания является решительный подрыв естественной установки, для которой всякий другой — только средство самоконституирования как автора собственной речи, собственной истории, собственного понимания. Этическая цель познания — создание во мне гносеологического условия бытия другого в его объективных проявлениях. Этот «другой» может существовать только в специально созданном поле всеобщих значений, а создание поля предполагает не трансцендентальную, но прагматическую интерсубъективность. В конечном счете — именно выстраивание этого общего поля, в котором различимы различия, и оказывается гносеологической целью познания. Сама же проблемность этой интерсубъективной всеобщности принимается как таковая — это предел, относительно которого возможно договориться<sup>3</sup>. Гаспаров, безусловно, не формулировал таким образом философские выводы из своих метатеоретических установок. Но смог высказать их афористически — в своей «ненаучной» книге.

Фактически, пессимизм Гаспарова относительно возможностей понимания не снимается даже и исполнением этих условий. На место понимания он ставит выучивание языка другого, возможное через составление словаря. Словарь предполагает перевод как приведение двух замкнутых миров в соотнесенность, а перевод предполагает наличие словаря, в котором миры уже соотнесены. Сама соотнесенность уже подразумевает каким-то образом случившуюся совместность. Так гаспаровская система воссоздает собственный герменевтический круг: словарь строит словарь, который строит его самого.

### **Понимание как перевод с воображаемого на реальный план**

Гаспаров формулирует те требования, которые исследователь-переводчик должен предъявить своему объекту, интерпеллируя его, чтобы осуществить восстановление субъекта, противопоставляемого воображаемому субъекту вчувствователей и понимаемых.

<sup>3</sup> «Я всю жизнь старался, чтобы наука твердо опиралась на дважды два, но никогда не считал «четыре» объективностью: просто видел, что насчет дважды два люди лучше всего сумели договориться между собой (кроме человека из подполья)» (Гаспаров 2001: 129).



Разбор стихотворения должен начинаться с составления тезауруса всех слов стихотворения (а в перспективе всех слов автора вообще), распределенных по тематическим группам; тезаурус формальный должен стать функциональным, то есть распределять слова в группах по их реальным связям, а не по словарному значению. И вот уже из такого тезауруса можно восстановить стихотворение: как прозаическое изложение самых сильных, то есть самых существенных связей между словами. Такой пересказ и будет добытым нами знанием (*Гаспаров* 1995: 275–285). Но чье это слово? Кому оно принадлежит? Кто его произнес? Его произвело на свет аскетическое знание о нем, в некотором смысле освобождающее произведение как от субъективности ученого, так и от субъективности самого творца.

В разборе мандельштамовского «За то, что я руки твои не сумел удержать» [1986] (*Гаспаров* 1995: 212–220) Гаспаров вводит такую дефиницию художественного мира, которая должна убрать из этого концепта герменевтическую презумпцию: «Художественный мир — это тот мир, который реально изображается в литературном тексте (а не только воображается за ним и вокруг него), то есть список тех предметов и явлений действительности, которые упомянуты в произведении, каталог его образов» (Там же: 212).

В этом определении удивительно то, что художественный мир понимается как перечень самих реальных предметов и явлений (которые оказываются равны образам), а не семантических (смысловых) образований, по определению не равных никакому «реальному предмету». Именно этот сильный ход позволяет и даже требует ввести следующее уточнение: «различение реальных и условных (самостоятельных и вспомогательных, структурных и орнаментальных) образов становится очень важной предпосылкой всякого анализа художественного мира произведения» (*Гаспаров* 1995: 213). То, что Гаспаров, вслед за Ярхо, называет символом, оказывается вспомогательным образом по отношению к основному образу, который понимается как сам предмет (находящийся внутри мира произведения, но все же предполагающий единство с квазифизической реальностью). Вспомогательные образы в итоге должны быть сведены к реальным. По крайней мере, в своих пересказах Гаспаров поступает с ними именно так:

Более сложные случаи соотношения реальных и условных образов в произведении являются нам в литературе XX века. Требования к читателю и толкователю здесь остаются те же, что и в лермонтовском «Парусе»: сперва установить, что буквальное понимание сказанного поэтом (одушевленный парус и т. д.) в реальной действительности невозможно, и, стало быть, данный образ является не реальным, а условным вспомогательным; а затем определить субстрат, т. е. предположить, какие реальные образы и ситуации могут стоять за этими условными. И то, и другое часто бывает очень сложно (*Гаспаров* 1995: 214).

Дальше выясняется, что семантическая непрозрачность разбираемого стихотворения происходит от того, что Мандельштам отбросил указатели на реальный план происходящего, по отношению к которому Троя является только метафорой (например, слово «как») и тем самым создал семантическую иллюзию некоего «троянского мира»: «Вместе с начальной строфой был



отброшен ключ к семантике стихотворения — указание на то, что любовная тема является основной, а троянская — вспомогательной, и поэтому не нужно ожидать от нее связности и последовательности переходов от образа к образу» (Гаспаров 1995: 219).

Предполагается, что автор ведет с читателем игру, и правильным поведением читателя и исследователя будет именно деконструкция символического плана в пользу реального: «осознав, что перед ним не реальные образы, а условные вспомогательные, попытаться реконструировать по ним реальный план». «Разорванность и несвязность» вспомогательного плана «помогают читателю отделить в стихотворении основу от орнамента» (Там же).

Различение планов предполагает их онтологическую иерархию, а она определяется как раз реконструкцией авторской субъективности как поля реальных отношений. Субъект-объект восстанавливается по своим текстуальным отложениям, но это восстановление основано на редукции за-шифрованного к де-шифрованному. Понять стихотворение — значит разрушить ограду вспомогательных, а по существу, мнимых, затемняющих дело образов и вернуть авторскую субъективность к исходной точке, от которой автор ушел предельно далеко. Троя — фиктивна, несчастная любовь к Арбениной-Гильденбрандт и есть подлинное содержание разбираемого здесь стихотворения. Реальное торжествует над воображаемым, пытающимся отстоять себя, возводя ограду символического.

Реальная личность создает личность мнимую — творческую, маскирующую вспомогательными символами зияние реального. Исследователь восстанавливает эту «реальную» личность, возвращая ее к зиянию. Для этого он распутывает иллюзорные связи, из которых личность создала себе смысловой мир, превращая их в орнамент. Мы уже выяснили, что «вспомогательные» образы, с точки зрения Гаспарова, отнюдь не помогают пониманию. Что же они делают? Они создают ситуацию соблазна, ложного предложения, начинают ту самую «игру с читателем», на которую читатель, как и исследователь, должен ответить разоблачением. Чем сложнее для читателя это разоблачение, тем выше эстетическая ценность модернистского артефакта. Правильное чтение стихотворения должно стать переворачиванием позиций читателя и автора.

Итак, ученый, вроде бы склоняющийся перед чужим словом, вынужден отказывать восстанавливаемой им субъективности в ее главной исторической претензии — подняться над собственным «реальным», над собственной конкретной историчностью, «породить себя в прекрасном». Отказывать не на уровне какой-то редуцирующей, «снижающей» идеологии, а во исполнение своего долга перед этой объективностью этой субъективности. Разбор стихотворения вовсе не обязательно должен сводить содержание к интимно-биографической затекстовой ситуации, как в цитированном случае. В разборах стихов Хлебникова апелляции к «личному» нет. Но он предполагает, что само семантическое движение стихотворения может быть сведено к «основной линии» и очищено от орнаментальной.

То, что у нас получилось, как будто находится в явном противоречии с эксплицитной этикой Гаспарова, предполагающей защиту автора от агрессив-



ной активности интерпретатора. Но на более глубоком уровне именно это действие для Гаспарова и будет единственно научно релевантным восстановлением чужой субъектности. Исследователь должен создать ситуацию, обратную усилию авторской воли, чтобы увидеть работу главного и первого интерпретатора, философа самого себя, которым является сам автор. Именно его эгоцентрическую иллюзию творчества должен обрушить исследователь, но в самом обрушении — восстановить.

Мы видим, что именно означает противопоставление науки и творчества, научной и философской интерпретации, в метатеории Гаспарова. Философ, претендуя на исследовательское место, воспроизводит мнимую, воображаемую личность творца. Философ отказывается различать основные и вспомогательные, реальные и мнимые образы, создавая иллюзию символической взаимобратимости. Но философ держится за мнимое понимание символической личности не только и не столько для того, чтобы прикрыть свою рану, свою исходную уязвимость. Он нападает, он участвует в битве за власть — его вложение в конституируемое им «бытие другого», «речь другого» — это завоевание территории, которая оказывается целиком занята его собственной символической личностью.

Филолог же должен оставить чужое слово нетронутым, неповрежденным.

Но мы уже увидели, что исследовательская техника Гаспарова предполагает активную рекомбинацию и определение онтологического «веса» чужого слова. Таким образом, на первый план выходит субъективность исследователя не просто как носителя критического суждения, но как производителя самой техники ре-конструкции чужого поэтического мира. Эпохэ собственного присутствия методологически предваряет введение этого присутствия в игру. Собственно, именно эту проблему Гаспаров пытается решить в экспериментальной книге «Записи и выписки»: он вос-станавливает собственную субъективность по тем же правилам экспликации «точки пересечения силовых линий», по котором может быть, до известных пределов, восстановлен субъект-объект.

### **Цель творчества и цель исследования: воплотить историю и/или спастись от нее**

Итак, ученый заземляет себя в точке собственного причинения историей, чтобы создать условие объективного познания. Но, в свою очередь, эта аскетическая генеалогия личности превращается в телеологию, позволяющую оценить предельную реализацию поэта в истории как реализацию самой истории и самого слова. Гаспаров реконструирует поэтическую биографию Вергилия, демонстрируя именно конечное растворение суммы отношений в общей ткани:

Сливая свою волю с судьбой, человек уподобляется не менее чем самому Юпитеру, который в решающий момент отрекается от всякого действия: «рок дорогу найдет» (X, 113). Безликий, сам себя обезличивающий Эней кажется зияющей пустотой в ряду пластических образов античного эпоса, — но это пустота силового поля. Людей XIX века она удивляла, люди XX века научились ее ценить.



Не так ли сам Вергилий от произведения к произведению растворял себя в той судьбе, которая оказалась его уделом, — в поэзии? От полулирических «Буколик» он шел к дидактическим «Георгикам» и затем к мифологическому эпосу «Энеиды». В «Буколиках» читателю всех веков мерещился образ самого поэта; в «Георгиках» слышался его голос; в «Энеиде» поэта нет — он растворился в языке и мифе. Начиная это введение в поэзию Вергилия, мы видели высокого, смуглого и застенчивого человека, упорно, вдумчиво и неудовлетворенно трудящегося над стихами. Теперь мы можем забыть этого человека: перед нами — его стихи (Гаспаров 1995: 415).

Здесь сведены воедино две любимые мысли Гаспарова: личность как «пустота силового поля» и императив невторжения в чужое слово. Парадокс в том, что этот императив вменяется не ученому и его работе с «чужим словом», но поэту и его «собственному слову».

Вергилий оказывается совершенным поэтом и совершенным субъектом истории именно потому, что редуцировал себя до объективности слова и объективной роли его носителя. Он сам сделал свое слово чужим, неприкосновенным, отделил его от своего смертного лица. Финал статьи о Вергилии «Теперь мы можем забыть этого человека: перед нами — его стихи» (1979) и содержательно, и даже ритмически напоминает отредактированное Гаспаровым последнее предложение перевода «Слов и вещей» (1977). Судьба человеческого лица — растаять, но кто способен довести это растворение до конца?

Процесс растворения и есть история. У исследователя сложная, двойная задача: до-разложить индивидуальную непрозрачность чужого слова до конечной совокупности исторических выборов, а потом восстановить эту сложность — как доступное интересубъективному обзору поле решений, может быть, не дошедших в субъекте до последней определенности, но доопределенных будущим — тем будущим, которое доступно исследователю.

И здесь мы вновь оказываемся перед парадоксом. Ученый действует не на стороне «личности», жаждущей самореализации в истории, а на стороне той анонимной логики, которая реализуется в действиях и словах этой личности и создает ее «место». Гаспаров замечательно чувствителен к насилию, заключенному в логике истории, но не видит никакого способа теоретически «обойти» это конститутивное насилие, по-беняминовски высвободить прошлое проигравших вторжением времени-сейчас. Его революционная книга «Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года» (Гаспаров 1996) деконструирует «героическую легенду» мандельштамоведения и показывает, что стихи Мандельштама состоят из материала советской культурной продукции и ориентированы на ее горизонт. «Стихи о неизвестном солдате» принадлежат тому же «художественному миру», что и «сталинская ода», и созданы тем же усилием присоединения к истории. В конце концов, логика самореализации и логика самообъективации (слияния с общепризнанным смыслом истории) совпадают. Однако, похоже, сам Гаспаров не до конца согласен с этим выводом.

Есть еще один пласт реконструируемой объективности субъекта, с которым «позитивной науке» нечего делать. Ученый не может не иметь опыта, со-



общающего его с этой реальностью, но должен вынести его на поля. Именно такими полями оказываются для Гаспарова лексиконы «Записей и выписок»: «Личность. Начало ненаписанной книги о римских поэтах: «Все эти стихи были бы написаны на тех же силовых линиях и без этих поэтов, но явление этих поэтов стягивало эти линии в такие-то пучки, и натяжение это было болезненно и для нитей и для скрепок — эта боль и составляет предмет нашего дальнейшего рассмотрения» и т. д.» (Гаспаров 2001: 259).

Предмет рассмотрения обозначен здесь так прямо, как Гаспаров никогда не позволил бы себе в научном тексте. Парадоксально ускользающий от опредмечивания инопредмет исследовательской ре-конструкции — *боль*. Страдание, создающее натяжение между символическим и реальным, скрытое преобразование боли отрыва в воссоединение с общим языком. Поэт создает шифровку, чтобы восстановить свою реальную личность до символической, ученый приостанавливает символическую личность, чтобы увидеть реальную и оправдать ее самой ее реальностью. То, что на уровне теории описывается как заданность историческим контекстом, здесь обнаруживает себя как непосредственность претерпевания, аффицируемость — первичный субстрат не содержания субъективности, но самой ее формы.

У ученого остается надежда, что текст, единственная объективность, доступная субъективности, сохраняет форму исчезающего лица, когда стирается случайность пересечения сложивших его причин:

Текст ведь тоже точка пересечения социальных отношений, а мне хочется представлять его субстанцией и держаться за него, как за соломинку. Может быть, это в надежде, что и я, когда кончусь, перестану быть точкой пересечения и начну наконец существовать — по крупинкам (крупинка стиховедческая, крупинка переводческая...), но существующим? (Гаспаров 2001: 297).

Тексты, которые позволяют забыть о лице, и есть та форма лица, которая может пережить неизбежную фантомность внутриисторического творчества.

В текстах М. Л. Гаспарова можно обнаружить продуктивное напряжение между теоретическим и метаэстетическим планом.

Гуманитарное исследование приходит к своему пределу в реконструкции действия ограниченной и исторически конечной субъективности, определяемого отбором доступных ей возможностей, которые могут быть описаны в виде тезауруса. Но сама эта реконструкция сопровождается практикой другого типа. Позитивистская наука филология здесь работает как этика или аскетическая практика себя. Гаспаров формулирует два этических правила понимания, которые, противореча друг другу, обуславливают друг друга: 1. «Разбирая толстую стену взаимопонимания по камушку с двух сторон, мы учимся понимать язык соседа — говорить и думать, как он. Чувство собственного достоинства начинается тогда, когда ты растворяешься в другом, не боясь утратить собственную «самость» и 2. «И последнее: чтобы научиться понимать, каждый должен говорить только за себя, а не от чьего-либо общего лица» (Гаспаров 2001: 97).



Презумпция исходной изоляции-в-непонимании в некоторой степени компенсируется идеей перевода: требуется понять, из чего состоит другой и из чего состоишь ты сам, определить соотношенность мест в общей системе координат. Но само существование этого общего удостоверяется для исследователя опытом предельной уязвимости и аффицируемости личного существования. Текст оказывается данностью, которая возникает над первичной негативностью личного бытия и перекрывает эту негативность.

Если субъект в своей активности остается во власти истории, то текст, который безусловно может быть понят только как внутриисторическое событие, обладает при этом некоторой способностью к трансисторическому существованию — потому что его рождение из суммы отношений необратимо приводит к появлению прочного и непрозрачного объекта. Но парадоксальным образом опора на непрозрачность текста порождает потребность в прозрачном тезаурусе, в котором все смутные семантические образования распределены по ячейкам общепонятного лексикона. Исторически единичное входит в лексикон и оказывается вариантом исторической нормы, сам лексикон строится исследователем, занимающим свое историческое место и способным отделить его от чужого места. Утверждение непонятности чужого языка не ведет к признанию его уникальности, наоборот, оно вынуждает реконструировать ту историческую, культурную, бытовую ситуацию, в которой он был бы понятен, то есть отсылал бы к совокупности источников. Такая генеалогия утверждает победу исторической нормы там, где мы хотели бы видеть аномалию, но может и помочь обнаружить аномалию по отношению к норме.

Гаспаров борется с тем, что можно назвать «жаргоном подлинности» применительно к гуманитарному исследованию: «Мандельштам написал в 1933 г. эпиграмму против Сталина, за которую в конце концов и погиб. И Мандельштам написал в 1937 г. оду в честь Сталина, которая его не спасла. Историк должен объяснить, как эти два произведения, два образа мыслей совмещались или сменяли друг друга в сознании Мандельштама. А для мифа достаточно объявить, что одно из этих настроений было “настоящим”, а другое “ненастоящим”, и им можно пренебречь. И, конечно, для современного человека не может быть сомнений, что “настоящим” должен быть Мандельштам эпиграммы, а не оды» (Гаспаров 1996: 17).

Это означает и то, что исследователь не имеет права апеллировать к аутентичному ядру реконструируемой субъективности (как и к глубинной сути культуры и других гипостазируемых сущностей). Понимание ограничено, поскольку неограниченное понимание есть осуществление власти представителя настоящего над прошлым, за которым стоит эгоистическая и нарциссическая телеология истории. Установка на ограниченное понимание не отвечает на вопрос о том, существует ли вообще аутентичное ядро субъективности и может ли оно быть эксплицировано из текстов. Но осуществив такую редукцию, Гаспаров смог обнаружить важный смысловой слой в стихах 1937 г. и увидеть другую перспективу исторического действия, из которой они писались.

## Заключение

Методологические принципы Гаспарова часто вызывали шок, поскольку Гаспаров выступал деструктором тех телеологических перспектив, которые



объединяют прошлое (субъекта-объекта) и настоящее (субъекта-субъекта) единством судьбы субъекта истории, которая в итоге приходит к своему оправданию и спасению, так что прошлое легитимирует настоящее, а настоящее — прошлое. Но это не значит, что собственная работа Гаспарова не включала в себя своего рода сотериологии. Можно сказать, что он заменяет «спасение» субъекта «спасением» его высказывания. Оно включает в себя реконструкцию текста (от идей и образов до фонетики) в тотальной данности его бытия, которая хотя и принадлежит истории, никогда не была этой историей востребована. Так эксплицированное и интерпретированное бытие неизбежно меняет историю, вынуждает пересматривать контракт прошлого и настоящего.

Гаспаровское радикальное сомнение обращено на основания понимания не для того, чтобы обнаружить их релятивность, но чтобы утвердить возможность ограниченной и неполной совместности, которая контролируется исследователем и ставит его самого под контроль. О природе и смысле этого контроля можно и нужно спорить. Можно сказать, что полемика Гаспарова с самыми разными фигурами, от Бахтина и «диалогистов» до деконструктивистов и постструктуралистов, определялась не их собственными философскими и теоретическими идеями, но сдвигом границ понимания в пользу позиции «настоящего», которое Гаспаров видит в основании этих идей.

Таким образом, горизонт полемики выходит за пределы методологии гуманитарных наук в общее для всех поле идеологического присвоения прошлого и коррелятивной ему присвоенности воображаемым прошлым. Проблематичной оказывается публичная сфера как таковая. И здесь метатеоретическая работа Гаспарова упирается в некоторые базовые ограничения, которые он осмысляет лишь косвенно. Ведь публичная сфера функционирует таким образом не только и не столько в результате когнитивных ошибок и иллюзий. Ее иллюзионизм в конечном счете определяется историчностью ее собственного бытия: разбор и определение исторически релевантного явно или неявно опирается на конституирование субъекта истории, который стягивает прошлое и будущее в определенной конфигурации Сейчас. Проблема заключается в том, насколько это *сейчас* способно выдержать дружость другого и множества других, гетерогенность настоящего, указывающую на гетерогенность прошлого. Ведь и сам Гаспаров, настаивавший на принципиальной разности перспектив прошлого и настоящего, исследователя и исследуемого, интерпретирует позицию Бахтина не изнутри его собственного настоящего (в реальной ситуации 1920-х годов позиция Бахтина не прочитывалась как авангардная, борьба идей имела гораздо более сложную конфигурацию). Он строит проекцию бахтинизма как определенной стратегии исторического действия, продолжающей действовать в «нашем» настоящем, и оспаривает ее. Эту асимметрию настоящего, утверждающего или пересматривающего «свое» прошлое, нельзя радикально преодолеть, но можно эксплицировать и научиться разделять разные уровни и перспективы бытия в истории.

Кроме того, важно помнить, что для Гаспарова отстаивание автономии прошлого было связано не с консервативной установкой на сохранение иерархий, но с утверждением принципиального равенства всех голосов для этики ученого. Гаспаров пытается разрушить логику репрезентации, в которой историческими фигурами оказываются те, кто выражают определенную «идею истории», те, кто символизируют собой непреходящие ценности и представ-



ляет неразрывность настоящего и прошлого, объединенного этими ценностями. Это означает не обязательное предпочтение «рядового» «выдающемуся» (Гаспаров посвятил большую часть своей деятельности как раз «выдающимся авторам»), но изменение самой оптики, обращенной на толщу анонимности, сокрытой в авторском слове.

Однако у внимательного читателя Гаспарова остается вопрос, обращенный к самой первичной диспозиции истории, в которую погружено для него авторское слово. Действительно ли слово не может нам предложить ничего, кроме болезненного согласия с этой историей? Искать ответ придется самостоятельно.

### Библиография

- Автономова Н. С.* Перевод в контексте культуры: судьба «Слов и вещей» Мишеля Фуко // Шаги / Steps. 2019. Т. 5. № 3. С. 10–37.
- Гаспаров М. Л.* Вергилий — поэт будущего // Избранные статьи. М.: НЛЮ, 1995. С. 395–416.
- Гаспаров М. Л.* «За то, что я руки твои...» // Избранные статьи. М.: НЛЮ, 1995. С. 212–221.
- Гаспаров М. Л.* О. Манделштам: Гражданская лирика 1937 года. М.: РГГУ, 1996.
- Гаспаров М. Л.* Ю.М. Лотман: наука и идеология // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 485–494.
- Гаспаров М. Л.* Записи и выписки. М.: НЛЮ, 2001.
- Гаспаров М. Л.* М.М. Бахтин в русской культуре XX века // Михаил Бахтин: pro et contra. СПб.: Издательство РХГА, 2002. Т. II. С. 33–36.
- Зорин А. Л.* От А до Я и обратно (О «Записях и выписках» Михаила Гаспарова) // *Зорин А. Л.* Где сидит фазан...: Очерки последних лет. М.: НЛЮ, 2003. С. 82–91.
- Живов В. М.* Совершенный словоиспытатель: Памяти Михаила Леоновича Гаспарова // НЛЮ. 2006. № 77. С. 28–35.
- Кузьмин Д.* Еще раз к коллизии Колкер vs Гаспаров. [Электронный ресурс]. <http://www.vavilon.ru/diary/000921.html>.
- Сурат И., Бочаров С.* Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. / Пер. Н.С. Автономовой. М.: Прогресс, 1977.
- Althusser L.* Three notes on the theory of discourses. // *Althusser L.* The Humanist Controversy and Other Writing (1966–67). L.; N.Y.: Verso, P. 33–85.



## Research Article

Faybyshenko, V. **The Ethics of Limited Understanding: On the Metatheoretical Thought of M.L. Gasparov** [Etika ogranichennogo ponimaniia: o metateoreticheskoi mysli M.L. Gasparova] *Anthropologies*, 2023, No 1, pp. 5-26, <https://doi.org/10.33876/2782-3423/2023-1/5-26>

© Institute of Ethnology and Anthropology RAS

Faybyshenko, V. Yu. | Saint Philaret's Institute, Moscow | [vfaib@mail.ru](mailto:vfaib@mail.ru) | orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0976-0236>.

**Keywords:** Metatheoretical reflection, creative and research attitudes, subjectivity, epoche of subjectivity, understanding, text, violence

### Abstract

The article offers an analysis of the meta-theoretical reflection of the outstanding philologist M.L. Gasparov. By metatheoretical reflection we mean problematization not of theory, but of the scholar's own position in relation to the Other. Its main problem is the «professional subjectivity» of the scholar in his interaction with subjectivity of the Other, as well as the extra-professional grounds and consequences of his position.

Gasparov radically questions the presumption of understanding the text along with understanding of the author of the text. Such understanding is viewed as egocentric violence. Gasparov proposes that understanding should be achieved by special practices of the researcher's ascetic self-restraint, accompanied by translation and reconstruction of the text under study. Such an understanding is relevant only within rigidly defined boundaries. Consequently, humanitarian research comes to the limit of its possibilities by reconstructing the actions of a limited and historically finite subjectivity determined by the selection of the possibilities available to it. These possibilities might be enumerated in a thesaurus.

Gasparov introduces the idea of a closed list of significant factors that create a translation field. It allows to determine the correlation of places in a common coordinate system. But the existence of this coordinate system is confirmed for the researcher by the experience of the ultimate vulnerability and receptivity of a personal existence. The text turns out to be a that emerges under pressure of primary force of negativity produced by a personal being but overcomes this negativity. The question remains to what extent the existence of the text is limited by its historical genealogy.

### References

- Autonomova, N.S. 2019. *Perevod v kontekste kulturi: sudba «Slov i veshchei» Mishelya Fuko* [Translation in the context of culture: the fate of Michel Foucault's Words and Things]. *Steps*, 5, 3: 10–37.
- Gasparov, M.L. 1995. *Vergilii — poet budushchego* [*Vergil — poet of the future*], Selected articles. M: NLO: 395–416.
- Gasparov, M.L. 1995. «Za to, chto ya ruki tvoe...» [«For I your hands...»], *Selected articles*. M.: NLO: 212–221.



- Gasparov, M.L. 1996. *O. Mandelstam: Grazhdanskaya lirika 1937 goda* [O. Mandelstam: The Civil Lyric of 1937]. M.: Russian Academy of Sciences.
- Gasparov, M.L. 1997. [M. Lotman: Science and Ideology] Yu.M. Lotman: nauka i ideologiya. *Selected Works, 2, On poetry*. M: Languages of Russian culture: 485–494.
- Gasparov, M.L. 2001. *Zapisi i vipiski* [Notes and extracts]. M.: NLO.
- Gasparov, M.L. 2002. M.M. Bakhtin v russkoi kulture XX veka [M.M. Bakhtin in the Russian culture of the twentieth century]. *Mikhail Bakhtin: pro et contra*, 2. SPb., RCHA: 33–36.
- Zorin, A.L. 2003. Ot A do Ya i obratno (O «Zapisyakh i vipiskakh» Mikhaila Gasparova) [From A to Y and Back (On the «Notes and Extracts» by Mikhail Gasparov)]. *Where a pheasant sits: Essays of recent years*. M., NLO: 82–91.
- Zhivov, V.M. 2006. Sovershennii slovoyspitateľ: Pamyati Mikhaila Leonovicha Gasparova [The perfect wordsmith: In memory of Mikhail Leonovich Gasparov]. *NLO*, 77: 28–35.
- Kuzmin, D. *Yeshche raz k kollizii Kolker vs Gasparov* [Once again to the collision Kolker vs. Gasparov]. URL: <http://www.vavilon.ru/diary/000921.html>.
- Surat, I., Bocharov, S. 2002. *Pushkin. Kratkii ocherk zhizni i tvorchestva* [Pushkin. A brief sketch of life and work]. M.: Slavic Languages.
- Foucault, M. 1977. *Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnikh nauk*. [Words and Things. Archaeology of the Humanities]. Translated by N.S. Avtomova. M.: Progress.
- Althusser, L. 2003. *Three notes on the theory of discourses. The Humanist Controversy and Other Writing (1966–67)*. London; New York: Verso: 33–85.

